

№-1622к 7

М. ШОШИН

# ТАРАКАН



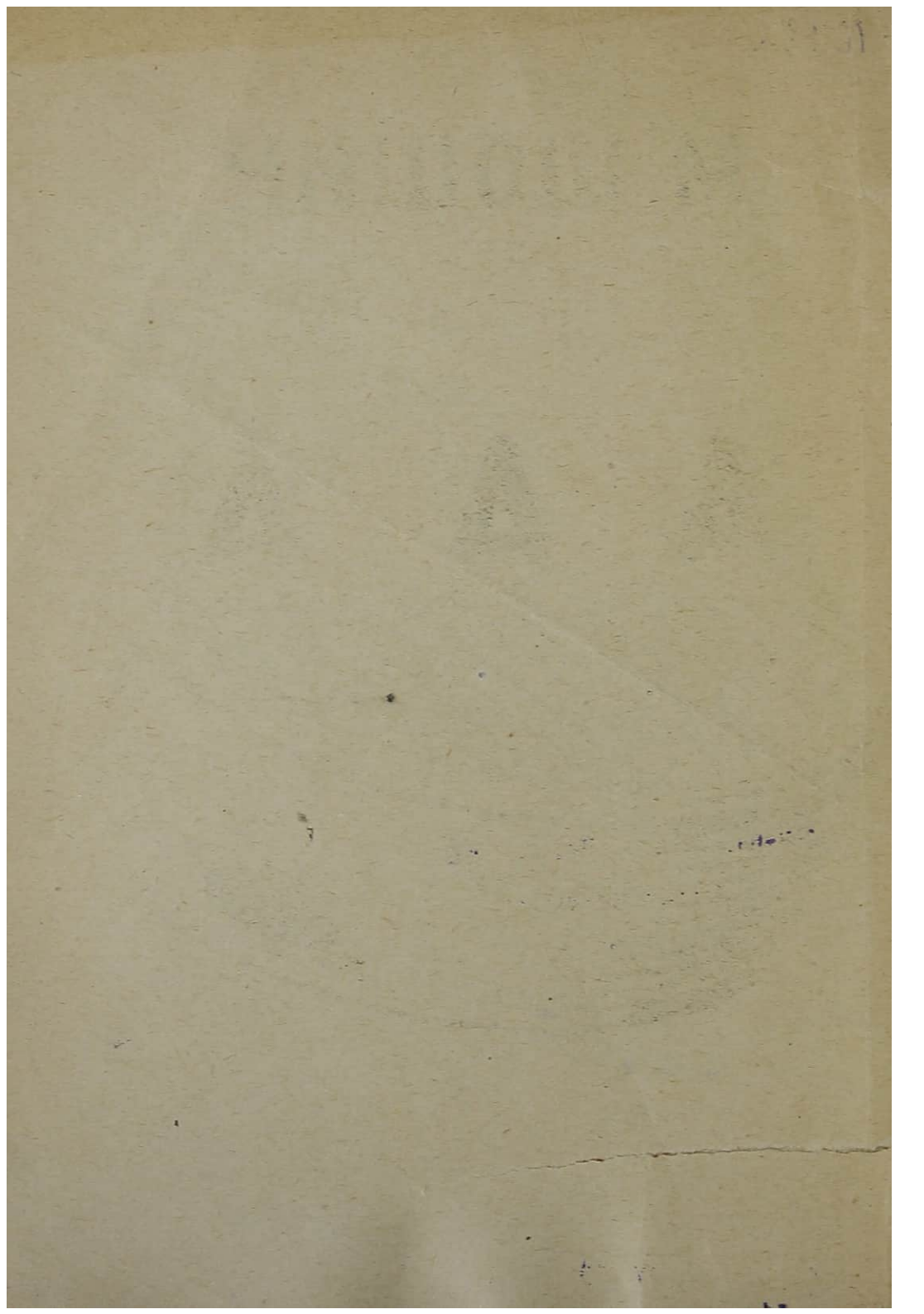
47.

Ивановская обл. Муз. 1944

Отдел Краевой

# ОСНОВА





№-1622к

МИХ. ШЮШИН

# ТАРАКАН

РАССКАЗЫ

ОБЛОЖКА И РИСУНКИ  
Л. М. ЧЕРНОВА-ПЛЕССКОГО

Ивановская Обл. Научн. Библи.

Отдел Краевой

2010



„ОСНОВА“  
Иваново-Вознесенск  
1925

1941

94

1

ИЗДАНИЕ XII

# ТАРАКАН

ВАСИЛИЙ

«ОСНОВА» № 104

Напечатано в типо-литографии «Красный Октябрь» Книгоиздательского Товарищества «Основа» в Иваново Вознесенске. Ив.-Возн. Гублит № 328 Тираж 5000 экз.

ИЗДАНИЕ XII

ИЗДАНИЕ XII

ИЗДАНИЕ XII

ИЗДАНИЕ XII

ИЗДАНИЕ XII

## ТАРАКАН.

Егор Парфенъч Курников с себя незглядной: маленького роста, борода реденькая, длинным клином, и глаза большие зеленоватые. Всегда в них дума рачительная, мужицкая видна, и самолюбимая, жадная замкнутость. Самое плохое — кривоногий он, как две дуги под ним, когда идет, думаешь „на силепете“ катит — колесом, колесом...

Женат на второй. И хоть женился второй раз старым, а жену Наталью, как зажимному, молодую, красивую дали.

Семь годов прожила (бездетная, сказывают — он причиной), а и теперь еще что надо баба: вся поченая, как будто лепильным маспером, что памятники в городах делает, вылипа.

Последнее время она задурила. Первая видимость — из волости ей пришлют бумажку явиться к инспектору Женотдела, приехавшему из города в волость. Свилась, повилась, полетела.

Егор Парфенъч:

— Не смей! Не дозволю.

— Запретил, того гляди... Плесневеть мне здесь с тобой, что-ли?..

— Жена ты мне—воп что я знаю. От мужа блудить жалашь?!

— Не мели, старой чорт... В новой жизни я хочу жить...

А он свое мужичье, старое, глупое:

— Не смей, мымра, расшибу!

— Сам ты, мымра кривоногая, раскорячился по старому и ничего не понимаешь.

— Чего я не понимаю? Все понимаю. Жизнь прожил.

— Не понимаешь. Нет! Мешаешь только мне.

— Раа-сшибу-у, ку-урва!

А она—шмыг из избы, и пошла.

Сидит он у оконца и мечет на нее мысленные молнии, как он ее скрутит, прижмет, под начал возьмет. Потом вздохать и богу молиться начнет.

В нашей полевой, дальней, глухой округе старое поверье—будто особая порода тараканов,—черные, большие, степенные, неплодовитые—живет в избе к достатку в хозяйстве, к справе. С вниманием к ним относятся и берегут. Водились они и у Курникова и были фамильной домовою гордостью. Жили за печкой в углу.

Стал замечать Егор, что тараканы уходить стали с тех пор, как Наталья в нынешнее пошла. Последнее время только одного видел—видно перевелись. Дорожил он им.

А Наталья козырится—в волость то и дело. А тут уехала на полнедели по деревням к бабам речи молоть. Сам у печи, со ско-

пиной. Ревмя ревет. Мужики к тому же насмежаются.

— Распустил бабу, старой хрен.

Как приехала, такую ругань подняли—пыль столбом, стены прещап.

Визжит Егор:

— Не рачишь совсем, спуталась, смоталась.

— Я новую жизнь строю.

— К коммунистам пошла... Сблудилась. ✓  
Хозяйство вывернуть жалашь.

— Не буду же я по твоему жить,— пропих ты совсем... Дрожишь, трясешься, перед богом изныкался, в тараканов и по веришь, на дворе лапоты с горшком повесил, чтобы курицы молились... Иконы чуть не лижешь.

— Не смейся поганка. Осподь, вот, скроеп хайло-по—онемеешь. Все до разу. Ханешь в одночасье и больше никаких.

— Ха-ха-ха, вакурат так и будет...

Сняла со стены из угла решето—понадобилось. А таракан черный и выбежал.

— Раздавлю твоего благодетеля.

Рыкнул:

— Не про-ог!

— Ха-ха-ха, раздавлю.

— Расшибу, мать...

Нажала раз—преснул, и неп таракана.

Егор Парфеныч Курников не выдержал—запрыскался, завизжал спрашно и кубарем на нее налетел—првис кулаком в лицо, потом в грудь, в бока, опять по лицу. Бьет, распрёпал всю.



Собралась с силами, врывалась и убежала. Ушла. Нет и нет. Каюк. Без вести. Все знали, что она ему уступать не будет—избил, обидел.

Не такая баба. Придется ему самому подделываться, забегать.

А он гордость напустил, шипит:

— Сама придет, объявится. Чай не чтонибудь, а только поучил. Книжки все ее, бумажки в печку. Под началом теперь будет.

А все ему насупротив говорят—не придет-де, потому хорошо грамотная, умная, красивая—молодого даже найдет. А тут в не-



долгом времени хлоп повестка—явится  
Егору Парфенычу гр-ну Курникову на суд.  
И больше никаких.

Народу собралось много—интересно, как  
Наталя разводится будет. Там она краси-  
вая, гордая спойт.

— И четко заявляеш.

— Взглядами не сошлись.

Большинство слушающих не поняли.  
И сам Курников не понял, и понес ответ не  
про то.

— Как это взглядом... У меня глаза не  
хуже ее еще видят—без очков разбираюсь.

Судья засмеялся и покачал головой:

— Ты не понял... Это насчет души.

Кто то из публики подсказал:

— Карахтиром, значит, разны.

— Карахтиром! Верно карахтиром она  
испортилась, негодящая баба стала.

— Он за старое, я за новое. Он к ста-  
рому привык, а жизнь нынче другая.

Судья голос:

— А зачем жену избил? Советская власть  
нынче за это строго карает.

— Таракана я раздавила и избил за это.

— От дедов нам передано, что живут  
эти черные к достатку, к справе, помогают  
в жизни—вера в них такая. Она раздавила—  
ну и поучил.

— Ты верил, что они помогают.

— Знал на прахтике.

— А теперь, когда их нет, не разорился?

— Я нового пустил—у суседа взял.

Напалбѣ презрительно выжала.

— Сам то ты таракан.

Брак распоргнули.

Вышел из суда—на улице весной пахнет. С крыш капает. В голубых далях гуляет весенний ярый огонь. Снег на крышах <sup>и</sup>ноздрится.

Вокруг радостно. Властвует в безграничной голубизне солнце. Дерут глотку пещухи. А Курникову поскливо, поскливо.

Екнуло больно сердце—вышло дорогое, любовное, уперянное к Напалбѣ. С'ежился.

А вечером пострадавший Егор Парфенвич в дымину пьяный с расплывшимися на лице слезами явился к председателю деревенского Совета.

— Скажи попроще, будь милослив, как это жить по новому? Не разберусь.

А Семуха—председатель,—молодой смеклый, башка варящая, в три-четыре слова всю политику об'яснит,—ответ в тот же секунд дал.

— Молодых слушать, потому что они все знают и указывают на каждом месте как жить, бабе волю дать и не бить ее, относиться к ней по хорошему, бога из души долой совсем, газету читать, а самое главное... в тараканов не верить.

## В Р А Г И.

На западной стороне тянется большое серое поле, над ним серое небо, точно пепловое шелковое платье с белесыми опливами, и внизу кайма леса,—черная песьма, нашитая на подоле. Влево уходит широкая дорога кривыми линиями—колеями; по бокам ее развалившиеся прясла и корявые старые березы.

На пригорке верстовой столб стоит, покосившись на бок. Его черные и белые извилины окраски делают его похожим на витую свечу, красочно белеющую над серым полем.

На дороге, у крайней избы шумит молодежь. По стороне лужайки—яблони с кислыми маленькими яблочками, пахнут зеленью, луком.

Гармонист расстягивает с важностью гармошку, с мехами из красного плиса, с зеленожелтыми цветами, почвь в почвь иск усственный цвет, из цветной бумаги свертывается и развертывается; визжит, шипит, заливается. Задорно, весело.

Хорохорятся ребята, выкрикивая грубые шутки, иногда смешные, а больше до того слабые, что готовые каждую минуту заржать девки еле кривят рот. Пляшут «карковьяк»,

«лездинку». Мешают и неуклюже вытопывают ногами пастух и Гришка Кашкин.

— Па-а-а-ша, Па-аша, ты не сердись, ты не сердись, потому выпить захотелось,— каркает пастух, оправдываясь перед Павлом Суминым, прикренистым парнем, с большой лохматой русой головой.

— Налакался и иди, дрыхни,—спрожничает Павел.

— Пыгулять хочу, а ты мое стадо ли-стричеством по снабди!

Павел отпалкивает пастуха—не хочется разговаривать—занят другим, вглядывается в красивую Надьку Фетисову—кольца русских кудрей завили венком уставное лицо, на щеках из-за загара выступает густой румянец, глаза синеватые бегают, ловко упирается и выдвигает крепкими ногами.

Приспальный взгляд Павла из под густых прядей свесившихся волос замечен. Встретившиеся взгляды выжимают у обоих улыбку и перекосив их свежие лица медленно замирают. Влюблены.

Думает Павел сейчас;

— Простой липок души, приклеилось от обоих что то непонятное и не разорвется. Только она дочь бывшего кулака, и теперь опять разживающегося. Теперь, в молодости, нет классовых противоречий, а женись и пойдет. Разделяет нас многое, как эта колесная широкая дорога вот эти два поля.

Мимо дорогой проходит парень с котомкой к вечернему поезду—на курсы едет.

— Серега, поехал?—кричит Павел,

— Поехал.

— Учись лучше.

Парень поспоял, вздохнул, поморгал, понюхал еще раз, как пахнет яблонями, луком, спокойной деревней. Тяжело спало—не хочется уезжать от шумных гулянок, гармошек, полевой удали.

Вынул кисет, свернул цыгарку, закурил—вонючий дым косичкой попянулся в прозрачном воздухе, мотнул головой и пошел.

\* \* \*

Фетисыч (попрежнему ему почет какой по в деревне)—высокий, седой, суровый мужик, идет по улице с жирным мужчиной, в белом карпузе, галантерейным торговцем из города, приехавшим обозревать владения Фетисыча и Надьку, с намерением на ней жениться своего сына.

На улице под шрема березами сидят кучей бабы и красками своих плащев и плащков походят на клумбу с яркими, крупными цветами, бесполово насаженными. Бегают около них дети.

Деревня отдыхает—праздник.

— Фетисыч, со сделкой-то давай на чай.

— Промолил Надьку?

— Эй, новый сват, раскошеливайсь.

— Что вы, бабы? Ни коня, ни возу, когда будет, так скажу.

— Да чего, по глазам видать, что дело на лад идет... Эх, девка хороша...

— А вы полнопе еще без дела молоть, хитро улыбаются Фетисыч.—А я воп, что слышал. В Киеве храм большевики разрушили—одну старую богородицыну икону оставили.

Через неделю—видяп—икона, как жар, золотом засияла. Во-оп чудеса-ше...

Бабы охают и крестятся. Галанперейщик опворопился и смеется—здорово-де заливает.

\* \* \*

Павел Сумин стоип облокопившись на перила плопины—любуется окружающим, и с напряжением думает. Широкий плес реки перед плопиной—поверхность черная, в середине зарумяненная солнцем, и у берегов осинная. Река Шихна.

По берегам черемуха душистая белая весной, и незаметная шеперь, кусты и дальше—березы.

От реки подле дола поднимается к нежной синеве поле с овсом: белый, спелый шепчется он звонко и сухо по спариковски.

На взгорбе деревня, выспроилась разбро-санно домами, черными спогамы, золотыми ометами соломы, с огненными коспрами поспевающей рябины.

За спиной Павла два высоких колеса, красной краской выкрашенными ластами и спена бревенчатого сарая. Здесь оборудована элекприческая спанция. В пяжелое время—девяпнадцатый год из деревни Кропихи был член Уисполкома Коспряков, он навел мужиков на мысль деревню элекприфицировать—река Шихна сильна, ворочает, например, большие мельницы,—сумел дать в деревню машину и построить на скорую руку помещение. Дальше дело не пошло, потому что Коспряков уехал на фронт и там убил, а оставшиеся не могли достать ни проводов, ни лампочек, ни элекприка. Через при с лиш-

ним года взялись за это дело, председатель кооператива Спудов и Павел. Кооператив ассигновал на это большую сумму денег — сумели достать все необходимое. Работа велась быстро — дело готово. Управлять станцией будет Павел — до службы электриком на фабрике работал в городе.

Через четыре дня торжественное открытие электрической станции.

Павел сейчас смотрит на поверхность реки, где от всплеска рыбы пропадают румянец и расплываются круги.

Задумался о речи, которую скажет через четыре дня на открытии, но мысль крутится вокруг разлившейся любви с Надей.

Фетисыч две недели назад перед свадьбой встретил и сказал:

— Ты, Павел, Надежду не смущай и забудь, а то она воем, я ее выдаю в город, а ты не нашего толку.

Да и она сама легко к этому отнеслась — забыла, а ведь любились. После ее свадьбы с сыном галантерейного торговца — неделя, в воскресенье в гости придут, придут на открытие... так, вот в речи и надо сказать, чтобы их кольнуло, что мы сильны, спроем новую жизнь и их тупое мещанское самодовольство нам противно, а они люди старые, обрюзглые.

Разозлить Надю, ткнуть носом в их хилое житейское существование. Подбирал самые ядовитые слова, чтобы отомстить за оскорбленное мужское самолюбие, стереть опмщением душевную поперю.

А в душе большая укоренившаяся давно и надолго радость, ведь успешно сделали такое большое славное дело.

В воскресенье вечером завернутся эти большие колеса с красными ластами, деревня на взгорье засияет огоньками электрических лампочек. Будет создана новая деревня с электричеством, хорошим кооперативом и клубом. Думы ютились цветные радужные...

Летела паутинка, в поле была осенняя простота и тишина, белые, нежные, новые столбы прямым редким рядом уходили от станции по взгорью к деревне, на проводе сидели (удобно) воробьи и с наслаждением чирикали. У противоположной стороны станции громко переговаривались рабочие, выметавшие последний сор и украшавшие станцию к открытию.

\* \* \*

День погоже яркий, солнечный.

Перед станцией на лугу тысячи народа в праздничных нарядах. Тихо, заслушались. Гармошки деревенских парней и те смолкли — приютились смиренно под мышками, а хозяева их с разинутыми ртами застыли. У стола, который служит прибуной, — все власти и руководители сельские; сейчас только что говорили приветствия: представитель Уисполкома приветствовал новую деревню и поздравлял, председатель кооператива приветствовал и рассказал длинную историю электрификации деревни и использования реки Шихны.

Сейчас говорит Павел. Он герой дня — самый славный и видный человек, первый зна,



ток по электричеству, к его широкоплечей, прикренистой фигуре прикованы тысячи глаз.

Голос ровный, речь знаемая и продуманная:

— Сегодня нет здесь ни одного человека, который не чувствовал бы, что новое побеждает, оно сильно, что оно каждому родное, дорогое и он с ним сжился...

Тряхнул лохмами русой шапки волос и бросил вызывающий взгляд на Фетисыча, который стоял с новым франзоватым зятем в ряд, на Надю, пристально смотрящую на Павла и ловившую каждый взгляд, каждое слово.

— ...Правда здесь есть различные Фетисычи, с городскими зятями торговцами, которые желали бы раздавить наши благие дела — столкнуть в реку нашу электрическую станцию, стереть кооператив, но у них руки короткие, мы их своей работой раздавим, как пупыр...

Его негодующий голос и насмешка всем понравились и толпа засмеялась радостно и взглянула, как один человек, на них.

Фетисыч побелел и моргал глазами, зять жалко улыбался, старался придать себе ухарский вид, Надя покраснела и опечалилась.

Вечером деревня цвела электричеством, а в клубе при ярком электрическом свете был спектакль. Надя, как виноватая, все время смотрела и сторонилась Павла.

## ПРОВАЛИЛИСЬ.

— Опчего, спрашиваете, у нас в деревне старики перестали у Ермиловой избы на завалинке сидеть?

Этому объяснение такое будет.

Раньше каждый вечер рассядутся дедушка Савелий, дедушка Капитон, старух шпук пятв.

Весь свой долгий век в одной деревне прожили, — все равно, что можно сказать близкие родные сойдутся.

Тихо вечером в деревне, полво галки на овиньях кричат, овцы не загнанные шапаяются и блеют, да ребяпишки маленькие по улице пронесутся. За деревней частушка под гармонику:

— Ванька карточку прислал,  
Веришь, нет, он — генерал.  
Шапка — шлем без козырю.  
На порках по пузырю.

Выпевает нежным голосом девушка. Это молодежь — комсомольцы отправляются в соседнее село в клуб.

Хорошо старикам сидеть на завалинке и шерошиться думами в дряхлых мозгах.

Полбуются охи, вздохи, причитания.

Особенно дедушка Капитон крепко вытывает:

— Пропала наша молодежа—во грехах  
вся згибла.

Савелий сейчас же подхватит:

— Ни спраху в ей, ни покорства.

Старухи, шамкая, поддакивают:

— Как бы это подествовать на нее,  
чтобы она восчунулась?—вопрошает Капитон,  
и сам себе отвечает:—Надо бы теперь  
какое нибудь чудо... Бог чего это сморит...

— Эх, топеря бы,—это уж зудит Савелий:  
—знамение господне что ли бы явилось...  
Вот бы...

Капитон оглядывается вокруг и шопотом  
объявляет:

— Я плант наметил—чудо сделаю. Пусть  
молодежа восчунется, в бога уверует... Вздох-  
нет хоть... Чудо проявим... И как значит,  
я самой богомольной,—у себя это сде-  
лаю—мне веры больше. Как объявлю, так  
вы сейчас же всех баб сбивайте, что, мол,  
верно... Псалмы запоем, молебствие закапим.  
И пойдет... Попродем молодежь... Примаем  
такой плант? Хоша знамо чижоло проводить  
будет, но надоть.

Утром Капитон прибрел к школьнику  
Лешке:

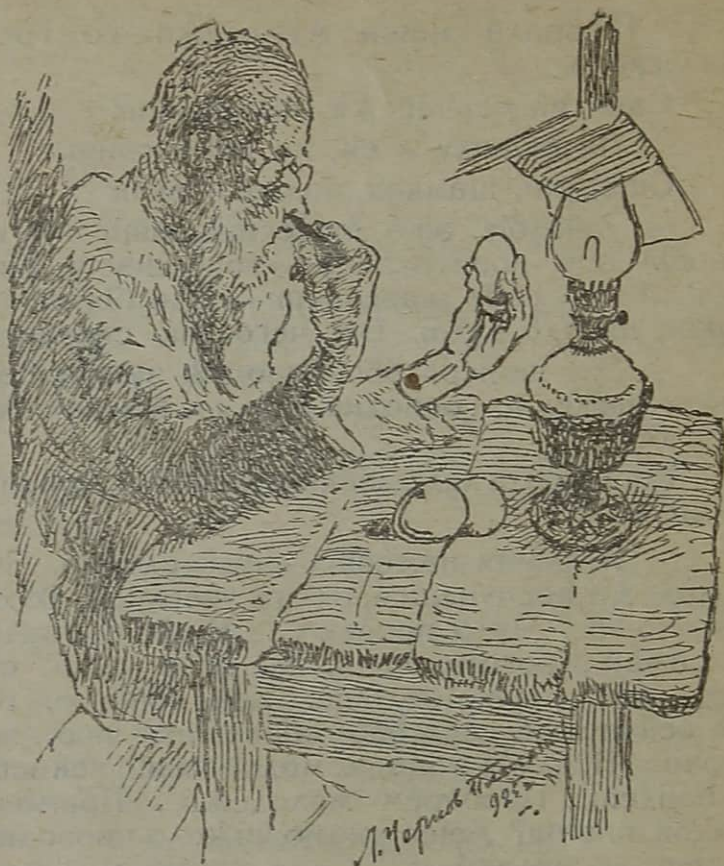
— Олеш, дай ты мне энтого карандаша,  
что как помусолишь так чернилом пишеш.  
Адресн надо на конверте прописать.

Лешка безоговорочно дал карандаш.

Вечером Капитон принес его.

А на другой день часа эдак в три после  
полден зашипело по всей деревне:

— Капитону чудо явилось.



— Молебствие идет...  
— Чу-у-у-до-о явилось.  
— Курица Пеструшка ицо снесла и на нем написано вроде как рукой архангела два слова «Бог ест».

Молодежь недоверчиво оглядывалась— откуда де такая пуля?

— Не может этого быть.

Мотали головой:

— Это бог сделал, чтобы на вас подействовать.

Все бежали к Капитоновой избе.

Там в задней избушке, где помещался курятник, шло моление.

Сыро, мрачно, нестерпимо пахнет навозом, гнильем...

Л. Черныш Гласский  
1925



Сошлось много народа. Бабы бултыхались лбами в солому, вздыхали, плакали. Яйцо с надписью лежало на полочке у иконы.

Красовалась надпись фиолетовыми славянскими буквами «Бог ест».

Перед иконой горели три свечи.

Капитон жалобным баском читал:

— И такожде возопиим—радуйся нене-вестная...

— Аллуя, аллуя, слав те боже.

Старый мужик Степан Кирсанов стоял в углу и вслух молился:

— Мученик архандел Гаврило, помилуй нас.

И после каждого такого возгласа земной поклон.

Баба Митрохина вздыхала:

— Грофена — Задера Хвосты, помилуй нас.

— Глядите, молодяки, это бог вам весть подают, чтобы веровали.

— Надо бога признавать.

Алешка стоял впереди и вглядывался в яйцо на полочке и вдруг не ожиданно выронил:

— А на ице по дядя Капитон моим чернильным карандашем написал.

Сзади молодые сразу хвапили:

— Ха-ха-ха... Г-ого-го...

Комсомолец Гришка Бипка вылез вперед, взял яйцо с полочки и... попер намусоленным пальцем по надписи. Все замерли.

— Не прог,—крикнул Капитон.

— Надо поглядеть, в чем шуп дело.

Плюнул на яйцо, попер да всю надпись и размазал.

Молодежь такой хохот подняла, что двор запряся.

— Чудилы мученики.

— Бог у Капитоновой курицы в брюхе был.

— Курицы угодники.

Старые быстро разошлись.

Опшого спарики по вечерам не вѣходяп  
на завалинку, чпо молодые насмехаюпся—  
носа показывапть нельзя.

Так провалился «планп» дедушки Капи-  
тона.

Из-за этого и на печь залегли спарики  
на месяц раньше.

## НАДРУГАТЕЛЬ.

Пыльные колеи дороги и по ней обвизанные ветки рябинника, полыни, ромашки, густо смазанные дегтем. Редкие свисты ппичек, еле уловимый шопот колосьев. Ржаными крупными сухарями в печке развалилась деревня на припеке, с редкими деревцами и никлыми скованными ветвянками. Курчавится лениво дым с волжского парохода, идущего там, за пять верст отсюда, и кажется, что это кто-то пишет длинную заглавную строчку на голубом конверте черными чернилами.

Пахнет сильно ежегодно—известным сенокосным сочным запахом. Валяются на дороге спавшие с возов сухие клочки сена.

Над белесой рожью колыхаются хоругви, крест, фонарь, головы крестьян—молебствуют, свяпят поля.

Сердито, не выговаривая ни одного слова, тянет монотонно поп и зеленым веником разбрасывает вокруг воду; гузынит басом дякон. Зной жарит пустые, малодумные головы крестьян, ветерок шреплет длинные волосы. Тяжело тянется, как лоскутное одеяло, бессмысленное угрюмое шествие по полевой дороге, между двух стен ржи,



Бороздой изо ржи вышли четыре парня, возбужденные, громко переговариваясь. У одного в руке две книжки—ходили в рожь читать. Хорошая штука—после тяжелых работ убежать с книгами компанией в поле разбираться в волнующих вопросах—сколько поэзии и смысла! Споря, двинулись по дорожке. Один взглянул вперед, плюнул и громко выругался:

— Как нарочно, черт побери,—с иконами лезут.

Увидели приближающийся крестный ход. Всем спало неловко—до того не хотелось встречаться, да и как себя держать при встрече.

Бойкий парень Сашка взбунтовался:

— Не унижаться—фуражки не скидать; что говорим, так на деле надо исполнять.

Ребятам показалось немного страшным—ведь это неслыханный вызов старому, открыто выраженное презрение к вере отцов, невиданная доселе дерзость, громогласное неверие. Видя замешательство поварищей процедил:

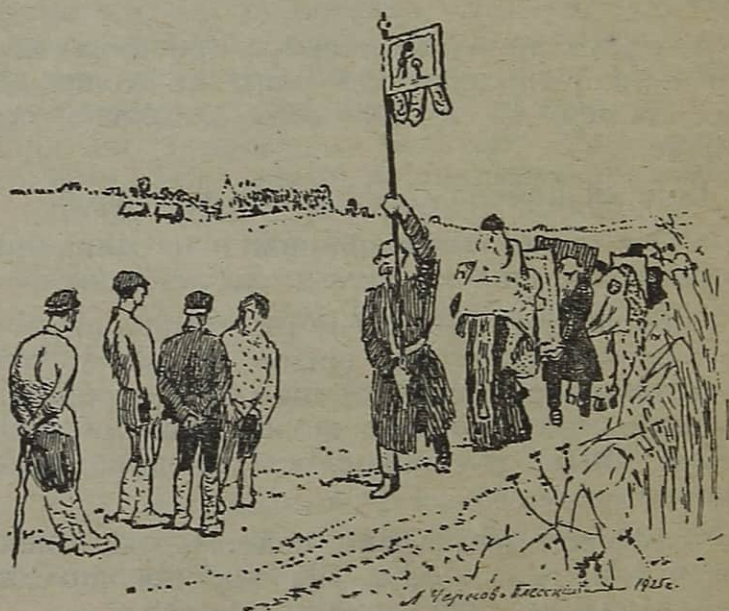
— Вы еще под иконы сядете,—эх, новые люди, а мы, мы, тоже. Вы храбры только тогда, когда во ржи книжки читаем.

Кольнуло ребят. И робко пошли в открытое, небольшое, но огромной важности сражение. Екали сердца, захватывало дыхание, дервенели ноги. Сашка шел впереди. Сошлись. Рыжий широкоплечий мужик, со свороченной ветром на сторону бородой, несший преплещущую хоругвь, крикнул приказно:

— Ай забыли, что картузы надо снимать? Не видите кого несут—бога, аль нет? Бога, аль нет, я спрашиваю?

Ребята встали немо, шествие застыло— вся огромная толпа поселян смотрела на них, заставив дыхание и удивлялась их храбрости— как это они решились на такую дерзость и грех. Поп рывкнул в немоте.

— Вы не хотите преклониться перед всемогущим творцом?



Парень из четверки, худой, с бледным лицом и несмелым взглядом не выдержал и сдернул измятый рваный картуз. Трое же стояли не шевелясь. Худощавый парень, видя, что товарищи выдерживают, взглянул на них, виновато заморгал и с'ежился, как заблудив-

шьяся собака. Рыжий мужик сердитее крикнул почему-то понравившийся ему вопрос:

— Бога несут, аль неп?

Сашка стоял с виду как будто невозмутимо, на деле же терял самочувствие и крикнул, об'ятыи толькo нем, чтобы выдержатъ, не отречься от ненависти к религии, пропив чего воевал, во что не верил.

— Неп бога, а доски росписанные,—и передохла, побелев от волнения весь, добавил при гробовом молчании:—бога неп!

Толпа ахнула от удивления и так сильно—будто ее небом каменным пристукнуло.

Рыжий мужик бросил хоругвь—повисло полотнище на крепких стеблях ржи; механически по привычке засучил рукава и бросился к ребятам.

Бить сейчас будут—мелькнуло у них. Попятились превожно и сбились в песную кучку.

Худошавый, спрусивший парень осмелился опять надеть каршуз и теперь крепче надергивал его на глаза.

— Стой, не пронь,—остановил рыжего молодой мужик,—хыть одного раза вдашь—беда твоя, подадут они на суд и упекут тебя в тюрьму.

Рыжий остановился. Подоспел сухой седой мужик и злобно завыл:

— Да это мой Сашка! Сашка что ты делаешь?

Глаза изуверски загорелись и вопрошающе забежали по толпе—что делатъ?

— Учи,—буркнул поп.

Седой бросился на сына и сильно ударил кулаком.

Сын увернулся от удара и, бросив моментально книжки, схватил отца за руку.

Ветерок игриво начал перелистывать развернутые книги, недалеко только что надумал выпорхнуть молодой жаворонок.

— Православные, помогите Сашку избить, один не управлюсь,—смешно прозвучал голос отца.

— Дома расправишься,—пробасил дьякон.

— А эти прое молодцов из соседних Межей, надо отцам сказать,—пропел крестыянин с намасленными волосами и выдающийся благообразием.

— Что вы пристали? Если не верят, так какое вам дело?—крикнул молодой мужик.

Удивление и изуверский пыл толпы спали.

✓ / — Болваны, озорники,—крикнул поп, — обморочили вам коммунисты головы.

— Нет, у нас чистые, это вы морочите,—крикнул уже воспламенившийся Сашка.

Мужичонко босой, в худых штанах, застиранной лнялой рубахе—присел на корточки у книжек:

— Дозвольте, робятки, на сигарочку листоч-чик оторвать?

Никто не ответил.

Пользуясь моментом, выдрал десяток листов и, хихикая от успеха, сунул за пазуху.

— Двигайся,—скомандовал поп.

Рыжий поднял хоругвь:

— Надо бы, батюшка, им мерло, потому злое семя из поля вон.

Поплелись никлые, склепанные, свиваемые монопоным скулом попов, таща старые иконы, ахая со страхом и смрадно шепчась. К ребятам подошел молодой мужик, закуривая цыгарку:

— Что-ж это вы надумали?

— Чего-ж смотреть? А вы молодые мужики таскаете иконы. Ты сам ненавидишь религию, а ходишь ..

— Да ведь не из усердия, а так, для порядку—как заведено, а ежели не пойдешь, мужики осердятся.

— Эх, вы,—с укором пропянул Сашка.

Пошли к деревне, мужик побежал догонять иконы.

— А ты уж сейчас и каршуз долой—спрусил... ки-и-сель, — выговаривают худощавому парню.

— Духу не хватило, чижоло было стоять—вить вон как напали.

\* \* \*

На другой день упрям Александр уходил; старик отец и сорокалетний брат, страшные религиозники-старообрядцы, выгнали его из дому за вчерашнее. Ругань по этому поводу длилась весь вечер до полуночи. Старые сердца не могли простить молодому опщепенцу такой обиды религиозной деревне. Выгнали. И не только за вчерашнее, а за все новое, высказываемое, исповедуемое и делаемое, за свежие мысли, за ярое поборничество против религии и темноты. Проводили злобой, ругательствами.

Вышел за деревню и за ним десятка два провожающей молодежи. Широкое румяное лицо засохло, глаза бегают и блестят ищуще и гордо, весь каленый.

На ногах рыжие, давно немазаные сапоги, с широкими голенищами, котомка за плечами, которую нервно, ненужно постоянно поддерживает, под мышкой ватная тужурка, перевязанная веревкой.

Провожающая молодежь грустно столпилась.

Остановился и прогорил:

— Надо ребят дождатся — удостоверенне принесут.

Девушка серьезно спрашивает, без тени смеха, как это бывает в другое время.

— Тонке передать што-ли привет-от? Она не знает, а то бы провожатъ вышла.

— Передавай. Скажи—надолго, мол, ушел.

— Реветь будет.

— Повздыхает полвко—это ничего.

Там, вдали, полем, шли с покоса—косы блестяли на солнце дивными самоцветами.

В утренней тишине рожь стояла тихая, с приспущенными колосьями, не зная того, что топ, кто осторожно мял ее, шептунью, приводя оравы ребят в ее тайники, сегодня уходит. Из лесу неслись, перекапываясь, звонкие ауканья. Пахло с огородов яблоками и укропом.

Из-за овиньев гуськом, друг за дружкой, выбежали при вчерашних сподвижника.

— Здорово! Долго ждал? Мы с покосу пришли, да скорей бежатъ—еле успели удостоверенне написать... На вот.

Подали бумажку, написанную чернильным карандашом.

«Ячейка молодежи дер. Опяевщины удостоверяет, что Александр Солодухин выгнан опцом из дому за то, что стоит все время за ново, не верует в бога и не снял карпуз перед крестным ходом, не имеет средств на прожитие и просим все учреждения дать ему работу, а осенью послать учиться, как он желает».

— Три подписи туп—мало, надо еще—давай, ребята, подписывайся, вернее дело будет, а то печати нет и подписей мало, не поверят. Под то место, где пишут—книжечку подложим, оно и ловко.

Мусоля карандаш, опчего языка делались фиолетовыми, тяжело выводили буквы.

— Книжки я все передал Прохорову, у него можете забрать. Пойду на Волгу работать, определится грузчиком теперь легко, а может Уком и другое место даст, а осенью выпрошусь учиться,—изложил кратко Солодухин план действий, хотя никто не спрашивал.

— Мы к тебе через недельку или через две побываем.

— Приходите.

Помолчали. Стеснительно друг перед дружкой попоптались, глаза у Солодухина задернулись тонкой водянистой пленкой, поглядел в сторону и тяжело сказал:

— Ну, прощайте!

— Прощай, ответили все врозь, но одинаково,

Неуклюже повернулся и пошел, поддери-  
гивая копомку. Один сапог начал скрипеть.  
Глядели ему вследа. Выйдя на перекресток,  
оглянулся—молодежь стала расходиться. По-  
махал кепкой и пошел быстрее по узкой до-  
роге в густую синеву, где за очерченными  
зном лесами пускал кудрявѣй дымок волж-  
ский пароход.

---



## О П Л О Ш К А.

Никанор Пырялов — небольшого роста, крепыш, всегда живой и работоспособный. Несмотря ни на какие житейские передряги, он всегда неизменно жизнерадостен. Ему двадцать девять лет, а пережил он столько, что двумя днями не перескажешь всего.

Путь известный, дорожка всем знакомая: царская война, три года в плену в Германии, два года гражданской войны. Везде Пырялов поспел, и всегда с усмешкой, с весельем, с живостью, ничем его не закручишь. С самого начала девятнадцатого года — в партии, а в начальниках не бывал, строгости и серьезности в нем не хватает. Слушать никто не спанет. А рядовым хорошо — всегда веселый, впереди, находчивый. Только единственно был начальником заградительного отряда по отборке хлеба у мешечников на небольшой железнодорожной станции. Рассказывал об этом так:

— Жалко!.. Народ наш — рабочий... Голодный. Сердце у меня нестрогое. Придет поезд — народ прижался, боится, а я, вместо отбора, попусту бегаю, кричу что-нибудь, путаюсь. Пока этак балабошусь — поезд и уйдет.

Нынче осенью его волостная партийная ячейка решила подучить для настоящего дела

в волости—отправила в советскую партийную школу. Вышел он из своей развалившейся избенки, положил свой желтый, облезлый сундучишко на подводку, данную волостным советом, сел на край телеги.

— Прощай! — сказал мне: — может, дело пойдет, тогда не так работать будем. Уж и побеседуем.

Жена и провожатый не вышла—привыкла к его отъездам и отсутствию, только маленький ребенок ползал у избу.

Мужик-подводчик дернул лошадей.

Прошло недель пять.

Радовался я за Пырялова, думал: на дельной точке мужик стоит—учиться пошел.

\*  
\* \* \*

Вышел я как-то на край своей деревни. День серый, морозный, ветреный, погода редкая вылетает...

Поля пустые, угрюмые, вокруг жалкая пустота, только ветер на гумнах солому преплет, да расстрепанные вороны каркают.

Гляжу—недалеко скрывается по мерзлой дороге Пырялов. Сундучишко на спине, впереди мешок, старая рваная кепка, и на шее грязный платок замочан. Озяб, уснул он, и первый раз вижу его угрюмым.

— Ты что это? Да как это?—удивился я.

— Пойдем в избу; расскажу, а то замерз—язык не двигается.

Снял я у него ношу с плеча и повесил на свое. Идет он хмурый, только подмаргивается,

Вошли в избу. Поставил я сундук в угол.

— Анюх,—сказал он жене,—поставь самоваришко, погреемся.

Жена, смотрившая на него с удивлением, пошла по воду. Он собрался рассказывать мне.

— С уче́нвем у меня дело пошло, бойко я начал учиться, хвалили даже меня... Да это мне ни к чему, потому голова у меня очень приимчива. Закобьяка такая вышла... В городе, видишь ли, осенняя ярмарка, навезено всего уйма, торговли спраств. У всех денбги, все покупают, зависть берет, к сердцу подкапывает. В воскресенье, день у нас от уче́нвья свободный—хожу я по рядам, глазею на товар. Денег у меня ни копейки нет, спустить нечего. Зависть так термешится и термешится. Скука. Ну, я не такой человек, чтобы сидеть да нюнить, сейчас меня на дело позывает. Не в первый раз, и очень я хорошо помню, как мы в Германии в плену приспособивались, чего-то не придумаешь, какую штуку не устроишь, али опять в гражданскую войну—без сметки и изворотливости пропадешь. Простяк на пустяковину—первый хитрец. Сейчас, думаю, где-нибудь подработаю. Подошел я тут к куче народа, стоят у игры, как это вот на счастье-то вертят, ни бикса, а как-то по другому, ну, вот круглый столик, по краям гвозди наколочены, палку вертят—по ним перышко бегаем. За гвоздями наставлена ерундистика разная: чашки, сахарницы, папирасы, гребни... Перышко остановится против чего-нибудь — досталось, только все больше мимо. Очень много вертящих, а у хозяина два таких столика и никак он не успеет управиться.

— Ишь,—говорю я ему,—запрепало совсем.

Поглядел он мне в лицо—человек-де бойкий, Говорит мне:

— Подрядись на впором столике работашь!

Я живо отвечаю ему:

— Сколь?

Он сразу:

— Полторы пьщи до вечера!

Я, не думая, говорю:

— Две!

Он согласился:

— Вали, действуй!

Отставил я от него сажени на три стол и начал. Сам себе думаю—воп теперь и я с деньгой буду.

— А ну, граждане,—кричу по сторонам.— Верти, крути, намащывай, деньги зарабатывай! Что десятка? Десятка—пустяк, на нее ничего не купишь, а здесь вернешь—счастье, может достанется. Подходи! Налетай! Верти, крути, намащывай, деньги зарабатывай! Что десятка? Десятка пустяк...

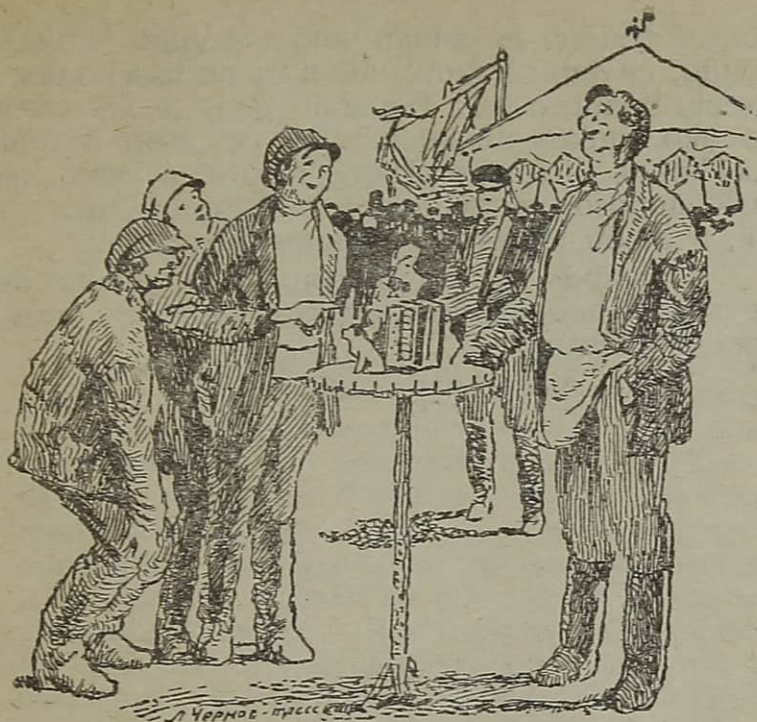
Народ гуляющий сеной ходит, а пуп ребята молоденькие из нашей школы шапаются. Вспали передо мной, смеются.

— Ну, и ловчага! Лавочку—предприятие завел.

Так и проработал я. На другой день вызывает меня заведующий школой, видно ребята ему рассказали.

Сурово на меня:

— Разве позволительно паршийцу стоять на ярмарке, с надувателями водиться и вместе с ними обманывать народ?



— Так что-ж тут!—говорю.—Ведь, это, мол, вертушка, не торговля какая-нибудь, али не карманничество. И очень мне деньги понадобятся, хотел, вот, брюки справить, гляди, —показываю ему на рванье.

— Мы бы тебе достали без этого брюки.

— Доставали-бы, я не знал.

Вижу, на пустяке сплошал.

Вдохнул мой друг Пырялов замятно, и кончил скороговоркой:

— И выключили за это из партии и из советской партийной школы, как я им не об-

яснял. Теперь не знаю, что и делать—камень  
ровно, внутри какой, никогда не тосковал, а  
здесь, брат, о-ей!.. Первый раз, да уж очень  
крепко, такая тяжесть. Ох, ты, елки зеленые.  
Ах, какая оплошка! Тьфу! Если-б я знал, что  
так строго, запретно! Думал, пройдет... Ой-  
ой, и жись не мила... Невпродых.

Смотрел я на быстро изменившегося  
друга Никанора и сам вздыхал вместе с ним—  
тяжело было.

-- Ах, ты, дьявольщина!

---

## Искра от двух кремней.

(Бытопись).

Алексей двадцатичетырехлетний красноармеец; на плече, в накидку, болтается шинель, как подрезанное крыло, на голове ржаным колобом присела засаленная красноармейская кепка, боты на ногах от вешней воды расплылись. Лицо обветренное, смелое, волосяной колючкой посыпано. Глаза меряют и сразу же режут. Встретила у дома мать старуха Песинья, неописуемо обрадовалась, на старом лице—весеннем сморчке—неумно радостная улыбка. Богата старуха ласковыми словами, вздохами, причипаниями.

Осмолел Алексей свои владения. Старая, скорчившаяся избенка. Бревно выпячивается, бревно внутрь уходит. Пнул сильной ногой в угол—опвалился стгнивший конец бревна, как от сдобного сухаря кусок, и шлепнулся в грязь.

— Новую избенку надо строитъ,—вдохнула старуха.

На дворе красная годовушка-шелушка ревели, просилась в солнечные поля, к зеленым островкам. На ветлах почки пухли и раскрывали рты. На дворе старуха подмелась—чисто. Больше осматривать нечего—все хозяйство тул. Теперь отдохнуть в избушке.

Брат выдেলлся до революции, от маленького хозяйствишка осталась мелочь. Алексея взяли в солдаты, у старухи остальное все развалилось, да брат еще подобрал. В покосившееся оконце золотые лучи струями протянулись. Старуха хлопотала, чтоб угостить сына, а Алексей раздумывал. Думал сосредоточенно, крепко об избежке, о будущей жизни. Солнце лучами шерошилось в коротких волосах Алексея и светлыми зайчиками лезло в длинные щели.

\* \* \*

Глядел на полые воды, слушал их переливчатые песни, глядел на радостных скворцов. Думал... Да что думать, давно решил, только любовался родными полями и оглядывался на старых местах.

В небе курлыкали журавли, ребятишки на околице деревни с разинутыми ртами глядели на них и завидовали—лететь хотелось им, и тосковали они на мокрой земле,—лететь хотелось карапузам, так бы и взвился. Мужики кричали на деревне—решали как землю делить. Собирались делить эти полоски на полоски—только борозда придется на загоне, загон в борозде. Прокричат и проругаются две недели, распишутся кой у кого на спине по старой привычке.

Начинать рачить, гоношить, хозяйствишко собирать—скверное дело. Измывгаешься, измаешься и все без толку. Нет лошади, плуга, телеги, борон... К брату придаться,—не стоить разорять его хилое хозяйствишко, он и так боится как бы я не придрался».



Давно решил итти работать в Совхоз. Вот там, в еще незазеленевшей березовой роще—дом, постройки, сарай—бывшее барское имение, теперь Совхоз—Офоновский Совхоз, туда к роще убегает звонкая, с бубенчиковыми песнями река Галочка. На другой день ходил в Совхоз. Шел—на плече в накидку шинель, как подрезанное крыло, на голове ржаным колобом присела засаленная красноармейская кепка, лицо обоспренное, смелое, черной колючкой посыпано, боты с грязью целуются. Перешел мостом звонкую, шумящую, с бубенчиковыми песнями Галочку. Взобрался в гору, лицо от солнца, как ржаной хлеб поджарилось, во всем теле жизнь, радость, в душе весенние песни, звонкие, как у шумящей Галочки.

В Совхозе кипит работа. В сараях стук, перезвон молотка по железу, крики... Починяют сельско-хозяйственные орудия машины; спругают, рубяют. Ребятишки хором поют и кричат перед желтой скворечницей. Для них по свойски, по знакомству насвистывает скворец, а ребятишки по своему ему поют и хочется им со скворинными детятами в скворечнице посидеть. За сараями на веревке гоняют кругом жеребца, он носится вихрем, а ему подсвистывают.

Поздоровались совхозские рабочие с Алексеем. Не торопясь, обстоятельно рассказал в чем дело.

— Не с чего начинать свое хозяйство, из пальца не высосешь, убейся так ничего не выйдет. Измыгаешься, измаешься, а все без толку.

Согласились.

— К нам, к нам, с полным удовольствием такого-то парня,—так и сказали.

Допкнулся до заведующего.—«Такого-то парня?! С удовольствием.»—так и сказал. Очки, вылощенная рожа, интеллигент. Работал вместе со всеми до вечера на дворе. Народ хороший, веселый...

Радостно. Вечером летел в избенку. Радовался, резал взглядом поля, проживе-ем, ды ээ-х, да как и проживем.

Звончей пела для него свои бубенчиковые песни полноводная Галочка.

\* \* \*

Окончательно поселился Алексей в Совхозе. Еще когда в красной армии был, то всегда думал приспособиться к Совхозу; по крайней мере, что-то новенькое, не дедовское мелкое, а помещичье хозяйство с крупными машинами, с сильными лошадьми... Для чего ведь революцию устраивали! Конечно, не делить его на кусочки по кресьянам, а работать в крупном хозяйстве с любовью, с умением. Чего и добивались!

В совхозе работал с охотой, с увлечением—все удивлялись. Хорош парень, таких нам и надо. Своим, совхозским спал, как век пуп жил. Старухе решительно заявил—рачить, гоношить, избу новую строить, хозяйством обзаводиться—не стану, потому что давно решил, что лучше и плодотворнее работать в Офоновском Совхозе, чем здесь с унижениями и скряжничеством обзаводиться хозяйством. И взвела старуха—рачителья, хозяина она ждала. Столько же плохих слов и ругательств нашла, сколько ласк по при-

езде. Лицо у старухи от слез—мокрая мочалка.—«Хочешь живи в избушке, а хочешь едем в Совхоз—там комната». — Осталась просила не забывать. Теперешняя старухин воспитанница хорошела.

В приливе размышлений и творчества дегтярной помазкой по песине, пропаянувшейся от застрехи до застрехи избы, напечатал:

Дворец крестьянского труда.

Выходило ровно бы для смеху, а для Алексея имело громадный смысл.—«Как ни преплись на полосках, лучшей хаты не найдешь, а горбатым спанешь». От этого вывода только и написал. А чтоб поняли, на на ставке прилепил объяснительную записку:

Издрыгай руки и ноги, а на полоске слободы не попытайся. Рази это жисть. А мне теперя не заправитесь, когда ни лошади, ни коровы, ни прочего скопа... Ухожу в Совхоз.

Все думали, что объявление из «волости» пришло—и читали... Из этого узнавали причину Олехино ухода в Совхоз. Соглашались. Вверху читали: «Дворец крестьянского труда». Опять выходило верно—лучше не создать. Другие говорили—«лентяй, лень работать». А так как объяснительная бумажка на ставке была тонкая, деревенские ребята искурили ее. А «дворец» знают все, карапуз—укажет.

Чтоб узнать долго-ли простоят избушка Олеха опять пнул—опять конец бревна оплел, как от сдобного сухаря кусок.

Весна, мужики в поле ноют «н-но родной». А Алексей на паре битюгов вздирает землю, —ы-ы че-ерти. Лошади пошли и земля чуть не на аршин ширины перевертывается.

\* \* \*

С утра до вечера работал в поле, работал с увлечением. Вечером, в отдых, на широком дворе, на скамейке около сада собирались все рабочие. Закуривали и до пь любили покурить, что на всем дворе от табачного дыма становилось шуманно. Ребятишки верхом отправлялись в ночное, лошади быстро уносили их в поле. Чипали новенькую, шуршащую «Беднопу». Газета кричала о переделах и перемерах. Жалосливо вздыхали о мужиках—замаялись сердешные... Толи-ли дело у нас в Совхозе...

В свободное время Алексей изнывал от любопытства—до всего доковыряться надо такой уж парень.

Лазил по чердакам, по кладовым, находил книги, письма, старые газеты внимательно просматривал. Один раз посчастливилось—нашел на чердаке за разбитым шкафом мандолину. Окрашена в темный цвет, все струны, за исключением двух толстых, оборваны. Высохла на чердаке—звонкая. Еще нашел в учебнике немецкого языка карточку фотографическую. На садовой скамейке развалилась девушка лет 17-18. Кисейное платьице, широкое, с оборками. Башмаки из-под платья выставлялись и вот какие. Расковырял Алексей большой и указатель-

нвйй палец, большой палец—каблук, указательный—подметка, еще меньше, пожалуй. Рожа вылощена, изнежена—буржуйская и, главное, уставна и поштатна вся, ни откуда не убавить, не прибавить.

«Ну и предмет. увивались поди за ней... Помещика дочь, буржуйка. И мандолина эта самая в руках, что я нашел. Эх, теперь бы ее на руки»,—неожиданно протянул... —«И засмеялась бы она, и заласкала, зацеловала, заиграла бы лучше всякой музыки. Да ведь буржуйка, хозяйка».

Опомнясь, опустил распопыренные руки—застыдился... Карточку положил в записную книжку, замасленную как пирожок, начиненный капустой—бумагой.

Для мандолины купил в городе струн, натянул. Буржуи умели играть, а мы не добьемся что ли до этого!.. Даешь! Выучусь. Учился в каждую минуту, с любовью, с увлечением, с упорством.

Тривкал, тривкал и допривкался: что не захочет все сыграть, как душа поет—так и мандолина.

\* \* \*

С весны еще полюбил девуку. Уж это надо знать, ведь давно о ласках, о поцелуях, любви, давным давно соскучился. Полюбил девушку Кланю. Разбитная, ловкая, бойкая, спатная, все в должной мере и красивая. Лицо так и играет ласками, поцелуйными обещаниями. У Алексея слова «симпатия»—мало: «моя красотка, милочка...» Встречались по субботам вечером (на неделе некогда, у Кланинова отца большое хозяйство).

На высоком берегу Галочки (она теперь  
лэ звенела бубенчиковыми песнями, а покои-  
нась в зеленых тарелках из осок и кув-  
шинчиков и как любимая рука обнимала гору)  
встречались в час вечеровой. На церкви буб-  
нили к вечерне маятным звоном. Спукнут—  
«бо-ом», а тишина сосет его, как ленивый,  
праздний рот сосет мятный пряник. Мать  
со всеми делилась охами и воздыханиями и  
шла к вечерне, а Кланька бежала на высокий  
берег Галочки, к корявым задумчивым бере-  
зам. Алексей причесанный, сияющий прынкал  
веселое на мандолине. Как ожидали друг-друга  
как встречались!



Играла радостно, волнующе весело мандолина, как будто плодоносные поля заливались песнями, а пишина служила рупором. Эх, и играла мандолина! Песни под нее плясальные петь да влюбляться.

Целовались несчетно, не скупилась — губы обветряют и сделаются липкими. Мандолина играла, — отдыхали.

Под вышитой рубашкой Клани вздымалась грудь — дразнила. Горячим телом обвивалась вокруг каленого, обжигала ногами. Не сдержишься... Осиливал себя, сдерживал бушующую страсть.

— До свадьбы, до того дня, до счастливого, ми-ильи, — просила. Соглашался. Прощались, когда звонарь доходил до высшего предела доброты — кидал с церкви двенадцать певучих «бо-ом», а ночная пишина, как мятные пряники праздный ленивый рот, их сосала.

Мандолина буянила, поля пели, а пишина гукала. Клани уж дома дверь хлопнула, а мандолина все еще буянила. Завтра праздник, целый день вместе.

\* \* \*

Долго-ли пролетят радостные светлые денки — не выдаешь как, пра-а не выдаешь. Лексей думал: еще съест, еще лепто, а оно и кончилось. Осталось чупочку солнечных денков. Хорошее-то — ми-игом! Осень уж. Осенью сразу и горе.

Горе, да какое и горе-то. Кланию «замуж» выдают за «другого», к нему — Лексею — и свидетельств не пускают. Метнулся, забарахтался, забился: К ее отцу — «даешь!». Прижал его — топт зашипел, увернулся — на подлад не дается

— За большака, бездомного, конмуниста... голыша, бобыля убей, умру, а не отдам. Не дам пропадать дочери.

— Ах вы собственники, хозяйчики. Всю деревню на дыбы подниму!!!

Заволновалась деревня, заохала.

— За большака-те, за голыша-те, за бобыля-те, не выдавай, упаси боже.

И смеялись.—Выдавай Клашку в «дворец»—царевной будет.

А Кланыя рвется, мечется, сердце в груди того гляди прореху пробьет—чует. Ругалась, плакала, молила.

«За большака-те, за голыша-те... с ума сошла! А здесь жених крестьянин, две ло-о-шади».

На деревне подговорили парней избить Лексея. Напали десятком. Не испугался, а бросился на них—все равно уж... Не испугался, значит с «железинкой». Кто-то крикнул—«робята, ливанверт!» Разбежались. Сердился на то, что не избили,—и то уж у чертей полку не хватило, а хорошо, легче бы было... Сердился и на то, что «ливанверта» нет—в любви штучку.

А Кланыя буйствовала. Били Кланьку, оступили ее горячее тело. Били по совету всей деревни. «Порядки ломаешь, гражданским браком за конмуниста, пропиву отца... не озоруй!». А Кланыя ненавидела жизнь с ее бабьим безводем, темнотой. Сильная, вольная страдала от безволя, законов на это добились, а темнота, деревня, не признает—она сильнее. Страдала—да и как! Одно слово пропала. Скрючили, связали и в темный ящи-



чек. Кисни, плесней сильная, вольная Кланыя за нелюбимым. Два сильных, новых, могучих человека оказались бессильными перед темной и собственнической психологией. Деревню на дыбы не подняли!

Осенним вечером сидел Алексей на высоком берегу у корявых берез. Внизу спала Галочка в зеленой парелке—берегах. Грусть, тоска, сердце рвется, того гляди вылетит.

На деревне крики, песни, визги, гармония где-то орет, как будто просит—поищи! Там свадьба: гуляют, выдают Кланю. Сидел, голова трещала, думал, ничего не думалось и вдруг...—мандолина расплакалась. Так-таки и расплакалась, залилась горькими.

А природа в осенней позолоте, багрянце. Лес вдали протянулся. Жгутом, как шерстяной разноцветный пояс—желтых, зеленых красных цветов. На тихой поверхности Галочки покоились желтые и красные листочки.

Другая.—«Собственники. Жадные, слепые. Но что с ними сделать?» И мандолина рыдала, грустила, взвизгивала от боли?

Алексей жалел Кланю, ее красоту, ласки, душу, силу. Жаль. Сил нет терпеть.

Мандолина грустила в унисон уходящей на опядых гордой природе.

Бросил вдруг манголину в сторону и застонал сердито больно. Ворчал по звериному.

Зачем ждал, зачем ее послушал: «до свадьбы, до того дня». Но тот был Кланин голос—как не согласиться. Зачем ждал, зачем

согласился? Теперь прозевал. Как ошибся, как прозевал! Тогда рраз—и дело приняло бы другой оборот. Тогда бы, тогда... Узнали бы—охохнулись бы—никто не взял бы, и теперь бы моя Кланы, милая красавица Кланы. А теперь беда—мучительная разлука... А ее жизнь какая горькая. Оба спрадают, мучаются, счастье двух людей разлетелось прахом. Не предполагали, что это выйдет, а теперь ясно, как ясное:

— Надо бы тогда и только, охунали бы, не взяли—и моя.

А теперь?

\* \* \*

Деревенские ребята смеялись:

— Эй, коммунист, нос тебе, бороду пришили—девку не дали. Хоша и барин ты Офонской, а как пораздумаешь—так голыш, бобыль, и морковий хвост тебе цена. „А дворец“ твой скоро на бок клюнется, либо столкнем.

Лексей увещавательно.

— Эх, ребята, ребята... Темны вы как печное чело. Ничего не понимаете, надо, ребята, учиться, учиться... Души у вас мелкошные.

— Тебя, Лексей, не пустим тепериче в деревню, потому что ты теперь барин Офонской.

— И не пойду, плевал я на ваши полоски. Как ни бейся, все равно с ними ничего дельного не выйдет.

На губах белым пузырьем вздулся плевок. Харкнул. Плевок вышивкой повис на голенище сапога парня.

Лексей дразнит:

— Эх, ловко мы работаем. Весной привезем трактор и у вас поперек полосок проедем, все смешается, да еще раз проедем оттуда—еще больше смешается. Два раза так и сделаем, тогда ни за что не разберешь и поэтому придется вам работать артелью или коммуной. Вот как.

— Да мы ты и с трактором в реку сбросим. Камуной рази можно, ничего не выйдет, а тут у каждого своя полоса, всяк себе хозяин, когда хочешь тогда и работай. А тут друг с другом по ногам и по рукам свяжешь, в камуне-то... Остановим твой трактор, не дадим.

Опять смеялся и дразнил:

— С ним не справишься, он прет и прет куда хочешь, ничем не остановишь. Смешаем ваши полоски — не разберешься.

— Разберемся, а камуной не станем работать, потому тут и по рукам и по ногам, а здесь своя полоса сам себе хозяин.

-- Темны вы, как печное чело, давайте-ка зиму учиться, лучше дело будет...

— Эх ты, учитель. Офоновским барином стал, так и нос загибает, учиться, учиться... Эх ты!

После этого озлобился, ушел в себя. Деревня стала ненавистной, непонятной. Деревня—темное море,—вспомнил, где-то на митинге слышал. Что это какие люди стали? Бывало понятные, добрые, смешные... Теперь жалкие, злые... Все ополчились на пару молодых людей, чтобы разбить на всю жизнь счастье, сунуть в ненавистное замужество

девушку, Алексея ненавидеть, не понимать ругать.

И все оттого, что выступил против бытового консерватизма. Мандолина, дававшая веселое поило для души—теперь забыта. Осень—все мокнет, слезится, сильная душа Алексея трепыхается, голова все обдумывает, поверяет, решает. Мандолина забыта. Висит на стене, как большой ополовник—не сияет на перехвате розовая ленточка, навязанная еще радостным лепом Кланей—и не оплещишь. Забылилась ленточка Заиграет Алексей хоть веселое, хоть буйное,—все кажется, что она грустит. Так и бросил—не играет. Мандолина не буйнула. Нужно было от всего гнущего забыть на кипучей работе, на большом деле. Горячо принялся за устройство жизни Совхоза. Библиотеку, развалившуюся, привел в порядок, крепче организовал рабочих, прижал расхорохорившегося заведующего.

Занялся учением, книгами. Длинные, темные, гудящие ночи проводил у лампочки за книгами; нозыми, бодрыми, мудрыми. Сосредоточился, оцепинился всей силой, всеми способностями, чтоб в книгах схватить многое. Темной, грязной, бездельной осенью, когда молодежь деревенская хулиганила, посковала на панцульках, упешалась ворчливой гармошкой, угорала от самогона, их поварищ—проповедник новой жизни, в темные вепренные ночи учился, вооружался для работы с этими ребятами.

Засела деревня в сугробы, залепилась снегами. Дым из труб глыбами повис над деревней.

Попадет из города газета—измусолят  
ее кумекавши и смекавши, потом искурят  
с аппетитом.

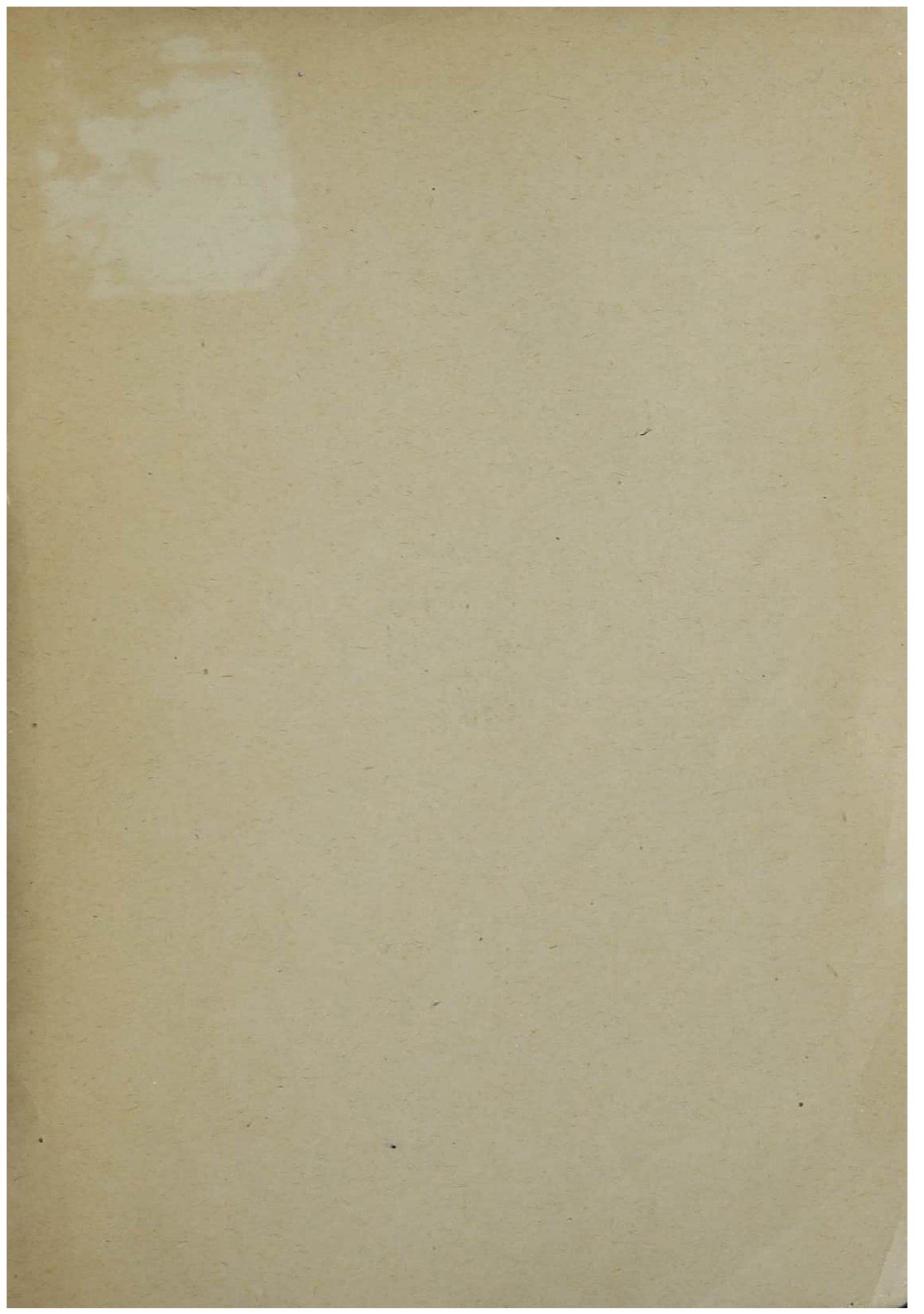
Избенку Алексееву совсем замело снегом.

А в это время, по деревне разносилось:

Олешка Офоновской в Совет избран...  
Вчера в город на с'езд поехал—уже избран...

## Оглавление.

	стр.
Таракан . . . . .	3
Враги . . . . .	9
Провалились . . . . .	16
Надругатель . . . . .	22
Оплошка . . . . .	31
Искра от двух кремней . . . . .	37



Цена 15 коп.





